



Иван ДЗЮБА

НЕ СДАВШИЙСЯ ЛЖИ

С Виктором Платоновичем Некрасовым я познакомился весной 1963 года (точнее — в двадцатых числах апреля) при не совсем обычных обстоятельствах. Поскольку они имели отношение к событиям государственного масштаба, повлиявшим на всю дальнейшую судьбу прославленного писателя, я должен о них напомнить.

Как известно, было две на широкую ногу поставленных и громогласно расpropагандированных «встречи» Никиты Сергеевича Хрущева с деятелями искусства и литературы: в 1962 году и в 1963. На первой из них был дан сигнал к наступлению по всему фронту на так называемых «формалистов» и «абстракционистов». Разумеется, не интерес к тонкостям художественных приемов двигал вождями, а желание, власть употребив, поставить преграду любым уклонениям от «бойцовских» функций, предписанных писателям и деятелям искусств (знаменитая формула Хрущева, подхваченная многими лягактивистами: «Писатель — автоматчик партии»).

Сразу же после хрущевского симпозиума начались нескончаемые собрания, «активы» и прочие митинги во всех республиках. Происходили они и на Украине, прежде всего в Киеве. Первым из них было открытое партийное собрание Киевской писательской организации в клубе Совета Министров УССР. Выступали некоторые из участников встречи в Москве и взахлеб изливали свое восхищение мудростью Никиты Сергеевича и его отеческими наставлениями. Предлагали выступить и мне (я тоже, вместе с Иваном Драчом и Миколой Винграновским, присутствовал на встрече в Москве — види-

мо, нас привлекли как представителей младшего поколения, для острастки). Но я отказался. Правда, пережил минуты острой внутренней борьбы: подмывало встать и рассказать, как все было в действительности, как Хрущев обливал грязью талантливейших людей. И только один Илья Эренбург осмелился в непрямой форме, но довольно прозрачно возражать ошалевшему вождю. Подмывало бросить вызов всеобщему лицемерию, — но, увы, не отважился. Счел неудобным выступать против известных писателей: кто я? И тем самым к этому лицемерию присоединился, хотя бы и пассивно.

Тем временем в развитие хрущевских указаний в идеологических и литературных комендатурах всех республик и областей бросились изобретать собственных формалистов и абстракционистов. На Украине первыми были названы Лина Костенко, Иван Драч, Микола Винграновский, потом этот список обогащался. Началась настоящая вакханалия верноподданничества, моральной неразборчивости и эстетической ограниченности, чтобы не сказать человеческой глупости. Но, в отличие от кампаний сталинских времен, звучали и голоса завуалированного, а то и прямого предостережения, как бы пытавшиеся образумить зарвавшихся современников. Например, Максим Рыльский в статье «Серйозна річ — мистецтво» («Літературна Україна» от 29 января 1963 года) недвусмысленно советовал: «Було б дуже прикро, коли б у нас почали робити з Московської зустрічі та з відгуків на неї в пресі швидкі, «скоропалительні», «організаційні» висновки...»

Видимо, и в ряде республик, и в самой Москве погром происходил не со стопроцентным успехом. 8 марта 1963 года Никита Сергеевич созвал писателей и деяте-

лей искусств на вторую широкомасштабную встречу с собой. На этот раз речь шла уже не столько о формалистах и абстракционистах, сколько о тех, кто «судит о действительности только по запахам отхожих мест, изображает людей в нарочито уродливом виде, рисует свои картины черными красками». А потому «надо дать отпор любителям наклеивать ярлык «акировщика» тем писателям и деятелям искусства, которые пишут о положительном в нашей жизни. И Никита Сергеевич тут же предложил новое клеймо со ственного изобретения, пополнив им богатый фонд традиционных ярлыков: «Наверное, их следует назвать дегтемазами».

Вот среди этих-то свежеразоблаченных шкодников-дегтемазов и выделен был в особую строку Виктор Некрасов. На первый взгляд может показаться (и многим тогда казалось), что выбор пал на него совершенно случайно. Увы, дело обстояло серьезнее. При всей своей импульсивности Хрущев был неизменно безошибочен в определении направления идеологических ударов, и общегосударственная облава на «формалистов» и «абстракционистов» не была его глупой прихотью: пусть и сумбурная по форме, она была совершенно логичной по существу — пресекала попытки ускользнуть от политического надзора, изощряясь в «заумных» способах выражения; подтверждала неизбывлемое в тоталитарном обществе право государственного руководства предписывать характер и формы всех искусств. И соображеный по спецзаказу спецпортрет Виктора Некрасова в качестве одной из главных мишеней был выставлен не с кондака.

Дело в том, что Виктор Некрасов как автор не только повести «В окопах Сталинграда», но и повестей «В родном городе», «Кира Георгиевна» представлял то течение в советской прозе, которое отказывалось работать на «возвышенных» стереотипах, отвергало «нас возвышающий обман», не уходило в романтическую риторику, конструирование «должного», а упорно воссоздавало «сущее», внимательно, понимающе и сочувственно вникало в реальную жизнь реального человека. Это антимифотворческое направление в советской литературе и искусстве объективно противостояло государственному мифотворчеству, отнюдь не собиравшемуся еще отказываться от тотального диктата во всех сферах общественной и духовной жизни. Именно потому Вик-

тора Некрасова обвиняли в «дегериации», «измельчении» советского человека и советской жизни.

Из-за своего авторитета (и, разумеется, таланта) и представлял Виктор Некрасов «опасность» в глазах adeptov политического иллюзионизма. Собственно, этот момент — предостережение от влияния Виктора Некрасова — тоже явственно сквозил в тирадах Хрущева: «Иногда идейную ясность произведений литературы и искусства атакуют под видом борьбы с риторичностью и назидательностью. В наиболее откровенной форме такие настроения проявились в заметках Некрасова «По обе стороны океана», напечатанных в журнале «Новый мир».

Во всяком случае, после этого выступления Хрущева имя Виктора Некрасова — наряду с именами Эренбурга, Вознесенского, Евтушенко — оказалось одним из наиболее поносимых в разгоравшейся с каждым днем проработочной кампании, порой напоминавшей безумную «психическую атаку». Сам же черный список разрастался за счет «дополнений с мест» — на Украине, кроме Лины Костенко, Винграновского и Драча, называли уже и Виталия Коротича, Евгена Летюка и других. Не было конца собраниям, активам, митингам, резолюциям. На расширенном заседании Президиума правления СПУ 15 марта один из его руководителей, ныне покойный, от имени «могучего многонационального коллектива советских писателей» грозно предостерег «старых и молодых одиночек, слишком уж зарвавшихся»: «Одумайтесь, пока не поздно. Не позорьте себя окончательно: советский народ терпелив, но всему есть конец» (см.: «Літературна Україна» от 19 марта 1963 года). В номере от 5 апреля «Літературна Україна» сообщила о встрече ряда ведущих украинских писателей с рабочими завода «Арсенал». Рабочие, сообщала газета, «горячо поддерживали установки партии, направленные на дальнейшее развитие литературы и искусства, остро осуждали идейно пурочные позиции и отступления от метода социалистического реализма в произведениях В. Некрасова, И. Эренбурга, Е. Евтушенко, А. Вознесенского. Справедливые упреки были высказаны, в частности, в адрес И. Драча, М. Винграновского, которые в своем творчестве допускали идейно нечеткие, путанные утверждения и формалистические выкрутасы».

В артобработку включился и главный республиканский калибр. 8 апреля в зале

заседаний Верховного Совета Украинской ССР состоялось совещание актива творческой интеллигенции и идеологических работников Украины. Председательствовал на нем Николай Викторович Подгорный, тогдашний первый секретарь ЦК КПУ, а доклад делал секретарь ЦК по идеологии, «неудобозабываемый» Андрей Данилович Скаба. Был повторен в усугубленном варианте весь набор обвинений по адресу внесенных в черный список. «Літературна Україна» в номере от 12 апреля опубликовала ставшее гвоздем программы выступление Н. В. Подгорного под заглавием «Жить и творить для народа, во имя торжества коммунизма». В нем, в частности, первое лицо Украины в упор вопрошало: «...За какую же вы, товарищ Некрасов, стоите правду сегодня?» В этом же номере газеты читатель мог ознакомиться и с выступлениями ряда известных писателей. Все они дружно клеймили Некрасова, Евтушенко, Эренбурга и украинских поэтов-шестидесятников. А один из тогдашних руководителей СПУ предъявил свой счет следующим оригинальным образом: «Ну, да пусть бы только молодежь. Пусть бы Иван Дзюба говорил: «Почему у нас нет такого борца, как Илья Эренбург?» Пусть бы уже Драч пророчил смерть старшим поколениям. А то — Эренбург, Некрасов, С. Голованивский!» Так впервые мое скромное имя прозвучало в контексте с именем прославленного писателя Виктора Некрасова. Обстоятельства как бы «готовили» наше личное знакомство.

Широкомасштабную операцию надо было продолжать до полного успеха. И вскорости организуется новая акция — открытое партийное собрание киевских писателей. О том, какое ему придавалось значение, свидетельствует тот факт, что на него специально приехал Александр Евдокимович Корнейчук, в последние годы почти что не являвшийся украинским писателям свою персону и обретавшийся где-то в международных сферах. Он открыл собрание идеино насыщенным вступительным словом и властно дирижировал им. И все-таки атмосферы ликующего неистовства не получилось.

Об этом собрании в принятом тогда выборочном и тенденциозном порядке сообщала «Літературна Україна» в номере от 23 апреля 1963 года — под заглавием «Беречь честь и славу советской литературы». Рутинный выхолощенный отчет, но в нем было несколько загадочных моментов. «Не удовлетворило собрание вы-

ступление В. Некрасова...» «Сделал попытку смягчить критику... В. Коротич». «Не удовлетворило участников собрания и даже вызвало возмущение путанное, местами абсурдное и бес tactное выступление И. Дзюбы». Читатель, привыкший к жульническому жаргону нашей прессы, догадывался, что желанного единодушия на собрании не было и не обошлось без «экспрессов», то есть выражений несогласия с начальством.

И действительно. Праздник испортил прежде всего сам Виктор Некрасов, окававшийся крайне неблагодарным — не только по отношению к Хрущеву, но и к Корнейчуку. Что касается Хрущева, тут ясно — не оценил его руководящую ругань и отеческие угрозы. А в отношении Корнейчука нужны некоторые объяснения. Дело в том, что ранее, в бытность свою председателем Правления Союза писателей Украины, Корнейчук привлек молодого талантливого прозаика из поколения фронтовиков к руководству Союзом — сделал его одним из своих заместителей. Но содружества не вышло. Слишком разными они были людьми и разными принципами руководствовались. Карьеры Виктор Некрасов делать не собирался и не стал. Его пребывание на посту заместителя председателя было недолгим. И вот теперь обе стороны были обостренно насторожены. Корнейчук рассчитывал, видимо, на почтение к нему со стороны Некрасова, а не найдя этого почтения, крепко осерчал, стал обрывать его чуть ли не на каждом слове, требовать раскаяния, оскорблять. Некрасов же, чувствуя истинную подоплеку высокомерных придиорок человека, не столь давно искавшего его расположения, — несколько растерялся, заметно нервничал на трибуне. В общем, ему не дали договорить. И представляю, как ему было горько на душе. Но главное было ясно: фальшивые обвинения он отвергал, оставался при своем мнении.

Я вышел на трибуну с твердым намерением сказать о лицемерном характере всей этой затеи: ведь речь шла не о борьбе с мнимым формализмом и абстракционизмом, с мнимыми идеологическими ошибками, а о борьбе с правдой и с правом писателя быть самим собой. Как только это намерение стало ясным, Александр Евдокимович и меня начал обрывать на каждом слове, а поскольку я «огрызался», он поставил на голосование вопрос о лишении меня слова. Не очень убедительным большинством (что для того времени тоже было редким казусом)

я был объявлен лишенным голоса. Покидала трибуну, я — скорее по растерянности, нежели по глубокому смыслу — сообразил сказать Корнейчуку: «Вы можете лишить меня слова, но вас это не спасет».

Сшибка с самим Корнейчуком считалась делом весьма опасным. Помню, тогда же при случайной встрече в коридоре Василь Павлович Козаченко невесело пошутил, указывая на меня: «Молодой самогубец». Но на самом деле никаких прямых последствий для меня ни выступление, ни стычка с председательствующим не имели.

И все же было для меня одно последствие. Притом самое приятное. Памятное и важное в жизни.

После упомянутого собрания я преспокойно возвратился в больничную палату — я лечился в это время в Институте туберкулеза. Видимо, по молодости, меня в те годы не очень расстраивали всевозможные неприятности, конфликты, проработки, увольнения с работы и т. д. А в своем выступлении вообще ничего чрезвычайного не видел. Более того, считал его неудачным, так как не сумел сказать всего, что хотел. Тем большим было мое удивление, когда на следующее утро, спустившись по вызову в комнату для посетителей больницы, я увидел там ожидающих меня Владимира Леонтьевича Киселева и его сына Леонида, с которыми я уже был хорошо знаком, а с ними... Виктора Платоновича Некрасова.

Нас познакомили. Виктор Платонович от себя и своих друзей вручил мне букет цветов и принял выражать свои эмоции по поводу моего выступления — в таких словах, будто я и впрямь совершил нечто особенное. Увы, в те времена и элементарное несогласие с очевиднейшей чушью, если она благословлена была сверху, действительно выглядело в глазах многих чем-то необычным. К тому же Виктор Платонович испытывал, видимо, благодарность ко мне за то, что мое поведение несколько подпортило праздник идеологического четвертования неугодных и поставило в конфузное положение бонзу Корнейчука, столь упорно стремившегося его уязвить.

Так или иначе, но с тех пор между нами установились отношения, о которых я еще днем ранее и не мечтал: ведь Виктор Платонович был для меня не только представителем другого поколения и другой среды, но и чуть ли не живым классиком, ходячей знаменитостью. Но он оказался очень простым в манерах

и общительным, деятельным и любопытным, а психологическую и возрастную «дистанцию» снимал легко и незаметно. Словом, мы довольно часто встречались и вдвоем, и в обществе знакомых, обменивались мнениями о важных и неважных событиях, обсуждали многие вопросы — и литературные, и, разумеется, политические; Виктор Платонович знакомил меня со своими друзьями — киевлянами и москвичами, я знакомил его со своими друзьями, с молодыми украинскими литераторами. Так что некоторые стороны жизни Виктора Платоновича в эти годы мне известны не из чужих уст.

Он был ревностный киевлянин, любил свой город, может быть, не так шумно, как одессит Одессу, но не менее истово. С удовольствием водил своих знакомых, особенно приезжавших из других городов, по киевским улицам, показывая достопримечательности. Излюбленным местом таких «экскурсий» был Подол, а более всего — Андреевский спуск. Тут он с какой-то гордостью показывал дом, в котором жил Михаил Булгаков, и комментировал события, описанные в «Белой гвардии», привязывая их к «топографии». Надобно напомнить, что в те времена о Булгакове знали мало, и о доме на Андреевском спуске ведали немногие. Во всяком случае, мне лично он первый показал этот дом. Любовно хранил он фотографии Булгакова, его семьи, окружения и, указывая на исполненные то ли достоинства, то ли надменности аристократические лица, неизменно иронизировал — имея в виду известные пропагандистские стереотипы: «Ну, какова белогвардейская сволочь?!»

Одним из первых заговорил он и о судьбе Успенского собора Киево-Печерской лавры. Тогда обязательной была официальная версия уничтожения величайшего шедевра Киевской Руси: взорван немецко-фашистскими оккупантами. Малейшее сомнение в этом считалось кощунственным. Но Виктор Платонович открыто говорил то, что втайне знали многие киевляне: собор уничтожили мы сами, заложив в него мины замедленного действия и затем взорвав их. Он собирал соответствующие доказательства, свидетельства, писал об этом.

Послевоенная застройка Киева была для Виктора Платоновича как архитектора источником эстетических мучений. Впрочем, не только послевоенная. С уничтожающим сарказмом высказывался он о двух киевских монстрах, архитектурных

символах эпохи — правительстvenном здании почти что на месте уничтоженного Михайловского Златоверхого собора и здании Совета Министров Украинской ССР на улице Кирова, построенных в стиле мрачного имперского монументализма. Болезненно воспринимал он и аляповатые официальные памятники, которыми принялись «украшать» Киев в 60—70-е годы...

Исключительное место в жизни Виктора Платоновича занимала забота о маме, Зинаиде Николаевне. Происходя из русской демократической дореволюционной интелигенции, она сочетала широкую образованность и внутреннюю культуру с простотой и скромностью, но вместе с тем и моральным ригоризмом. К тому времени, когда я начал посещать Некрасовых, Зинаида Николаевна была уже в очень преклонном возрасте, двигалась с трудом. Но сохранила некое суровое достоинство, заставлявшее испытывать не только почтение, но и чуточку страха. С годами мать стала почти что беспомощной, и Виктор Платонович должен был постоянно находиться при ней. Неизменные раньше прогулки вдвоем с мамой становились все реже и непродолжительнее, а все больше Виктор Платонович сидел с ней. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что она была несколько деспотичной в своей любви к сыну. Во всяком случае, вспоминаю, как однажды в Ялте, где мы с Виктором Платоновичем встретились, она крайне строго выговаривала ему за то, что надолго оставил ее — хотя на самом деле он отлучился на каких-то десять минут, чтобы познакомить меня с Вениамином Кавериным. Дома, принимая гостей, Виктор Платонович старался расположиться так, чтобы разговор происходил на виду у мамы, — учитывая ее ревнивый интерес. Она плохо слышала, но время от времени вдруг включалась в разговор и что-то настойчиво переспрашивала. И сын терпеливо, ровным голосом (иногда по нескольку раз) ей все объяснял...

С Зинаидой Николаевной у меня связано одно не совсем приятное для моего самочувствия воспоминание. Дело в том, что она неохотно отпускала сына еще по одной причине: частенько он возвращался навеселе. Этого она не любила и спрятанно опасалась некоторых знакомых сына, специализировавшихся на странной угодливости перед этой слабостью Виктора Платоновича. Но я оказался в числе тех, к кому она прониклась доверием.

Я действительно старался, как мог, оградить Виктора Платоновича от этих неизменных «своих боевых ста грамм», как он упорно и виновато пощучивал. Но вот однажды — не помню уже, по какому случаю, — и я не удержался. В превосходнейшем настроении мы возвратились к полуночи и радостно направились к Зинаиде Николаевне. Но она посмотрела так — на меня, не на Виктора Платоновича, — что я мигом отрезвел. С тех пор она ко мне изменилась, сделалась холоднее — или, может быть, мне так показалось по свойственной мне мнительности.

Круг знакомств Виктора Платоновича был очень обширен и чрезвычайно разнообразен. Дома у него можно было встретить и писателей, и художников, и архитекторов, и кинематографистов. Все совместившее, несогласное с официальной рутиной либо тянулось к нему, ища сообщества или поддержки, либо с ним так или иначе солидаризировалось. Через Виктора Платоновича в значительной степени осуществлялась связь киевской неконформистской интеллигенции с московской, более многочисленной и активной. У него часто останавливались «эмиссары» московских диссидентских групп.

Виктор Платонович знакомил меня со многими своими московскими друзьями, и за этим, как я понял, стояла забота о том, чтобы я, потерявший к тому времени возможность печататься на Украине, получил доступ к московским журналам. Иногда эта его забота принимала просто трогательный характер. Так, прочитав в рукописи мою статью о Сервантесе, он тут же позвонил в «Вопросы литературы» своему другу Л. Лазареву, принял участие в обзванивании другие редакции. Будучи в дружественных отношениях с «твардовской» редакцией «Нового мира», он постарался отрекомендовать меня, и я получил возможность печататься там. Впрочем, вскорости эта возможность была потеряна — в связи с разгромом «Нового мира».

У меня хранятся две записки от Александра Исаевича Солженицына, переданные через Виктора Платоновича.

Квартира Виктора Платоновича была всегда открыта для гостей, и их тут перебывало великое множество. Возможно, случались среди этой публики и люди сомнительные. Но он видел других — и их ему важнее было видеть: честных, экзальтированных, бескомпромиссных... В ответ на уверения и упреки друзей в том, что среди льнущих к нему молодых людей, которым он отдал себя на растер-

зание, есть и психически неуравновешенные, душевнобольные,— Виктор Платонович однажды обронил суждение, поразившее меня своей глубиной и справедливостью: «Они (то есть так называемые «душевнобольные» — И. Д.) отличаются от нас (то есть «здравомыслящих» — И. Д.) только тем, что они честнее». Действительно: в атмосфере брежневской «стабилизации» тот, кто все додумывал до конца и был до конца честен, оказывался либо в тюрьме и концлагере, либо в «психушке», либо действительно терял психическое равновесие. Исключений было не так уж много. И не так уж часто естественное приспособление к объективным обстоятельствам удерживалось на грани, за которой начиналась беспринципность.

...И тем не менее «чрезмерность» знакомств Виктора Платоновича и хаотичность этого общения не только дезорганизовывали его рабочий день, но и представляли — в тех условиях — немалую опасность для его судьбы вообще. И в этом отношении благотворной для него была перемена, происшедшая в последние годы жизни в Киеве, когда в его дом вошла жена, Галина Викторовна, упрадочившая его быт и труд.

Мое знакомство и сближение с Виктором Платоновичем пришлось на те годы, когда на Украине начало зарождаться национально-культурное (а отчасти и политическое) движение, наиболее явственно выражившееся в так называемом «шестидесятичестве» — в новой волне в литературе и искусстве, интеллектуальной жизни. Виктор Платонович живо заинтересовался этим явлением. Поэтому в моих отношениях с ним, во всех наших разговорах и дискуссиях почти всегда зримо или незримо присутствовало то, что можно условно назвать украинским национальным вопросом. Сначала — в его более узком, литературном аспекте. У меня сложилось впечатление, что он, как и большинство русских (или ориентированных на русскость) интеллигентов, живущих на Украине, раньше мало задумывался о национальном бытии украинского народа, о проблемах украинской истории и культуры и еще меньше о них знал. Национальное лицо Украины в его представлении отождествлялось с лицом Союза писателей, его руководства. А отношения с Союзом писателей Украины у Виктора Некрасова всегда были плохими.

Тут надо сказать, что в те времена руководство Союза писателей Украины, помимо присутствия в нем некоторых вы-

дающихшихся, заслуженно авторитетных и в высшей степени интелигентных людей, в целом занимало сугубо верноподданническую и порой крайне реакционную позицию по всем вопросам художественной политики и во всех идеологических конфликтах. Разумеется, это нетрудно было объяснить историческими причинами, — ну, хотя бы теми жестокими проработками и чистками, которые непрерывно обрушивались на украинскую интеллигенцию, постоянно терроризируемую обвинениями в национализме. Там, где политическим страхам придан еще и национальный компонент, — сервилизм всегда превосходит обычную меру. Но до истории ли было Виктору Некрасову, когда он видел, как деятели СПУ, будто одержимые неистовым желанием быть большими католиками, чем сам папа, с такой самоотдачей «вырываются вперед» — в каждой из следовавших одна за другой идеологических кампаний! И он склонен был свое негативное отношение к СПУ, к официальной маске украинской литературы, — в известной степени распространять и на саму эту литературу вообще, сомневаясь в ее творческих потенциях и исторической перспективе.

В свою очередь, среди части украинских писателей — тех, чей искренний, но ограниченный патриотизм был искашен казенной идеологической ориентацией и верноподданничеством, — было распространено представление о Викторе Некрасове как чуть ли не об «украинофобе» (и мне, например, приходилось выслушивать упреки за то, что «стакнулся» с ним). Представление, разумеется, совершенно превратное, но оно странным образом питалось не только независимым и горделивым поведением Виктора Платоновича по отношению к СПУ (сходным, кстати, и с отношением некоторых молодых украинских литераторов, например, Лины Костенко или, несколько позже, Василя Стуса), но и некоторыми его высказываниями и публикациями. Особенный шум и даже негодование вызвали его суждения об А. Довженко в статье, напечатанной в «Литературной газете».

Виктор Некрасов стоял на позициях трезвого и честного реализма не только по свойствам своей изначально правдивой и прямодушной натуры, но и по своим эстетическим склонностям. Не приемля никакой напыщенности, риторики, приукрашивания и «приподыmania» действительности, он одну из бед советской литературы времен государственно предпи-

санной и государственно соблюдающей не-правды видел в насаждении патетического тона, «красивой» романтизации, а это последнее связывал, в частности, и с абсолютизацией эстетических принципов А. Довженко, в том числе и его известной формулы о золоте высокой правды и «медных пятаках» маленьких бытовых правд. Выступление В. Некрасова оскорбило украинских «патриотов», и их реакция казалась тем более обоснованной, что лишь недавно имя Довженко было выведено из полузабвения (после многих лет пребывания в немилости), лишь недавно смогли появиться в печати его новые произведения, напоминавшие об огромных возможностях его таланта,— наконец, еще свежо было ощущение недавней невозвратимой потери.

Разумеется, Виктор Некрасов совершенно был прав, выступая против «лакировки» и лживой патетики, всем уже опостылевшей. И вовсе не отрицал он Довженко вообще. Но чего-то, на мой взгляд, не учел он и в оценке самого Довженко — хотя бы трагизма его судьбы великого художника, оторванного от родины — Украины и фактически лишенного возможности трудиться, с негласным запрещением «писать и рисовать». Не знал он и истинного облика Довженко — не мог знать, как знаем мы, имеющие возможность прочесть его мужественно-проницательные и мудрые мысли в «Дневниках», мысли человека, понимавшего еще и полстолетия назад то, к пониманию чего мы пришли лишь теперь. Но главное — Виктор Некрасов стал жертвой обмана. Он спорил по сути не с Довженко, а с той совершенно фальшивой интерпретацией его взглядов, которую давали лакировщики и официальные гимнотворцы, жульнически прикрывавшиеся именем Довженко. Ведь, говоря о высоком, Довженко всегда разумел моральную и интеллектуальную высоту художника, масштабность его мысли, только и позволяющие постичь глубину драматизма жизни,— а отнюдь не словесное ее пре-вознесение. Его преданность высотам духа была гневной укоризной духовному ничтожеству и бесплодию времени и искусства этого времени.

Этого, на мой взгляд, не учел Виктор Платонович, и об этом нам случалось говорить,— поскольку отголоски былых страстей вокруг этой темы еще долго не угасали.

Отношение Виктора Некрасова к украинской литературе и украинским делам

вообще особенно изменилось под влиянием движения «шестидесятников». Его интерес привлекли и Василь Симоненко, и Виталий Коротич, и Иван Драч, и Микола Винграновский, и, разумеется, Лина Костенко. Конечно же, он знал цену таким мастерам старших поколений, как Максим Рыльский, Павло Тычина, Микола Бажан, Андрей Головко. Но эти люди были для него в прошлом, какого-то противостояния «свинцовой мерзости» нынешней жизни он за ними не улавливал. А ему важно было именно это, увлечь его можно было словом или поступком, срывавшим завесу лжи. Вот почему он начал проникаться интересом и симпатией к «украинству» именно в связи с литературными и политическими выступлениями «шестидесятников». Когда начал развиваться украинский «самиздат», — один из его документов не прошел мимо Виктора Некрасова.

Теперь он уже был далек от того наивного недоумения, с которым возражал мне прежде: «Но ведь украинский язык никто не притесняет — вон Шевченко в каждом киоске продается: куда ни глянь, везде Шевченко» (кстати, я так и не понял, откуда взялось у него такое представление: как раз в те годы достать «Кобзарь» Шевченко было проблемой). Теперь он возмущался разгонами молодежных съездов и митингов, в частности, возле памятника Тарасу Шевченко, преследованиями представителей молодой украинской творческой интелигенции. Апогеем этих преследований стали в тот период аресты, осенью 1965 года, большой группы людей, среди которых были литературный критик Иван Святличный (хорошо известный Некрасову), Вячеслав Черновил, а во Львове — Михайло Горынь, Богдан Горынь, Михайло Косив и другие. Виктор Платонович был взволнован этими репрессиями и не раз говорил мне, что надо что-то делать, как-то протестовать. Я отвечал ему, что пишу обстоятельное письмо протеста, в котором попытаюсь вообще проанализировать сложившуюся ситуацию. Это его заинтересовало.

А мое «письмо» все разрасталось и разрасталось. Собственно, само письмо — в адрес первого секретаря ЦК КПУ П. Е. Шелеста и председателя Совета Министров УССР В. В. Щербицкого — было не очень пространным, но к нему я решил приложить материал под названием «Интернационализм или русификация?», в котором пытался показать па-

губность той национальной политики, которая осуществлялась на Украине под прикрытием фальшивых слов об интернационализме. Упоминаю об этом не только потому, что Виктор Платонович был одним из первых читателей моего опуса, но и потому, что он, сам того не ведая, косвенным образом побуждал меня к его написанию: во-первых, поторапливая с предполагавшимся «письмом протеста»; во-вторых, пытаясь уяснить для себя суть того, что официальная пропаганда называла тогда «украинским буржуазным национализмом». За Виктором Платоновичем мне виделась та часть русской интеллигенции, которая хочет и способна занять честную позицию в украинском национальном вопросе, но недостаточно осведомлена о нем. Этих людей как возможных собеседников я тоже имел в виду, хотя формально материал свой адресовал ЦК КПУ и ЦК КПСС.

Прочтя «трактат», Виктор Платонович выразил согласие с ним, но, к некоторому моему удивлению, наибольшее впечатление на него произвели не мои собственные рассуждения и доказательства, а процитированное мною письмо одного читателя, который, говоря о неравноправном положении украинского языка по сравнению с русским, заметил: с русским языком можно проехать всю Украину и обойтись без украинского, а с украинским без русского на Украине не обойдешься... Это простое наблюдение более всего поразило Виктора Платоновича. Видимо, он шел к пониманию всех человеческих проблем, в том числе и национальных, от здравого смысла и чувства справедливости.

В дальнейшем Виктор Некрасов неизменно проявлял живой интерес к украинским делам, радовался всяким проявлениям нонконформизма, присоединялся к ряду политических протестов. Его подпись стояла, например, под известным письмом 139 деятелей науки и искусства Украины к руководству СССР по поводу новых арестов и преследований в республике и в Союзе. Разумеется, и ему, и мне приходилось не раз «держать ответ» за это, пока что перед писательским ареопагом.

...Теперь позволю себе рассказать об одном из наиболее памятных в моей жизни дней — поскольку это тоже связано с Виктором Платоновичем Некрасовым. Был сентябрь 1966 года. В 20-х числах Виктор Платонович передал мне через общих знакомых записку, в которой просил зайти к нему 29-го к часу дня. Я дога-

дался, что это означает. Ведь 29 сентября было особенным днем в жизни многих киевлян. Одни киевляне в этот день шли с букетами цветов и траурными лентами на ту окраину города, название которой стало печально известным всему миру: Бабий Яр. Некоторые другие киевляне в это же время ломали голову над тем, как не допустить большого скопления первых в этом месте и как вообще уготовить ему забвение. Третий из киевлян по приказу вторых ревностно наблюдали за первыми, а в случае надобности и «применяли меры» по отношению к наиболее беспокойным из них. И 29 сентября 1966 года было не просто очередной годовщиной начала трагедии в Бабьем Яру, а ее 25-летней годовщиной.

В обусловленное время я был у Виктора Платоновича. Застал у него его друзей из Киевской киностудии научно-популярных фильмов. Руководимые Рафаилом Нахмановичем и Гелием Снегиревым, они готовились что-то заснять. Но когда мы приехали в Бабий Яр, то были совершенно поражены увиденным. Все окрестные холмики и взгорья облепили многочисленные и поначалу разрозненные толпы людей. Но эта неуправляемая стихия была как бы одно живое существо. На лицах людей застыло страдание, а глаза были нездешние: они смотрели в глубь времени. Тень давнего ужаса и какой-то человеческой потерянности витала над Бабьим Яром, и тысячи безмолвных в своей потрясенной людьми были как бы воплощенным немым воплем целого народа.

Люди молчали. Но это было вопрошающее безмолвие. Люди хотели слушать, слышать. И когда пронесся слух, что «приехали писатели», к нам бросились, нас растащили в стороны, каждого окружили плотной толпой и требовали: «Скажите, скажите хоть что-нибудь!..» Не слышал, что говорил Виктор Платонович — я оказался в другой толпе, — но, видимо, ему, прославленному писателю и фронтовику, было легче найти нужные людям слова. А их потом передавали из уст в уста, дополняя и комментируя.

Конечно же, не случайно оказался Виктор Некрасов в Бабьем Яру. Это место стало символом не только фашистского геноцида, но и «нашего» надругательства над памятью сотен тысяч жертв. И Виктор Платонович с неизменным упорством, — доводя до крайнего раздражения идеологических и прочих чинуш, — добивался «легализации» памяти жертв фашизма, создания достойного мемориала

в Бабьем Яру, прекращения мелкого жульничества насчет характера трагедии,— когда за справедливыми словами о том, что тут погибли советские люди многих национальностей, пытались замять скрыть факт, что «начался» Бабий Яр с массового и целенаправленного уничтожения гитлеровцами евреев. «Конечно,— отвечал Некрасов,— здесь расстреливали не только евреев. Но только евреев расстреливали за то, что они евреи». И если удалось все-таки предотвратить планировавшееся превращение Бабьего Яра в спортивно-увеселительную зону, если сегодня торжествует правда памяти, действует общественный историко-просветительный центр «Бабий Яр», ставится вопрос о создании Музея памяти жертв Бабьего Яра,— то в этом велика заслуга Виктора Некрасова.

Еще один момент хочу воспроизвести — не имевший такого значения для Виктора Платоновича, как все, что связано с Бабьим Яром, но также показывающий его глубокое уважение и взволнованное отношение к памяти о трагических жертвах вообще. 29 января 1968 года исполнилось пятидесятилетие со дня гибели украинских студентов-добровольцев из Студенческого куреня, брошенных Центральной Радой в бой на станции Круты против армии Муравьева, шедшей на Киев. Группа молодежи отметила эту годовщину возложением траурных венков на Аскольдовой могиле, где они были похоронены. Я рассказал об этом Виктору Платоновичу, прочитал ему не печатавшееся многие десятилетия стихотворение П. Тычины «На Аскольдовій могилі поховали їх, тридцять лицарів прекрасних, мучнів молодих...» Он ничего этого не знал и был ошеломлен, предложил сходить на Аскольдову могилу и увидеть венки.

С 1969 года в квартире Виктора Платоновича на телевизоре стоял портрет чехословацкого юноши Яна Палаха, совершившего самосожжение,— окаймленный траурной рамкой. Надо добавить, что возле него всегда лежали свежие цветы. Это — тоже на тему об отношении Виктора Платоновича к трагическим жертвам, к самопожертвованию во имя свободы...

Был в жизни Виктора Платоновича один-единственный момент, когда верховная власть почувствовала свою вину перед ним и косвенным образом попросила прощения. Случилось это после снятия Н. С. Хрущева. Известна традиция наше-

го государства: отмежёвываться если не от больших, то хотя бы от мелких пакостей предыдущего правления. Так вот, вспомнили о напраслине, которую возвел на Виктора Некрасова «волюнтарист» Хрущев. Писателя пригласил первый секретарь ЦК КПУ Петр Ефимович Шелест. В сорочке с расстегнутым воротом и в пиджачишке отправился он на высокий прием. С превеликим удовольствием рассказывал о том, как были шокированы лица, подготовлявшие эту встречу с руководителем республики... Хотя с его стороны в этом никакой нарочитости не было: просто не придавал значения.

А сама встреча с Шелестом прошла хорошо и произвела на Виктора Платоновича благоприятное впечатление. Помимо того, что перед ним фактически извинились (кажется, речь шла и о снятии партийного взыскания),— ему понравился сам Петр Ефимович, вопреки известному его предубеждению против руководителей высокого ранга. С особенным удовольствием рассказывал, как Шелест посочувствовал: «Да, нелегко в наше время быть писателем». Тут Виктор Платонович улыбался и иронически добавлял по адресу наших вождей: «Они все понимают, все понимают!»

Но спокойствие вокруг Некрасова воцарилось недолго. Под конец 60-х годов атмосфера начала снова сгущаться. Готовились новые репрессии. А Виктор Платонович вызывал озлобление и тем, что активно выступал в защиту преследуемых на Украине и в России, и своими обширными связями с «диссидентами», и причастностью к распространению «самиздата», и, видимо, «несдержанностью» в разговорах на политические темы.

В ночь с 12 на 13 января 1972 года в Киеве, Львове и других городах Украины произведены были многочисленные аресты и обыски. В ту ночь и я был задержан. Но меня не сразу арестовали, а еще месяц или полтора допрашивали с утра до ночи, отпуская на ночь домой. Так вот, в одну из этих первых ночей, желая узнать, что же происходит (поскольку был от всего отрезан), я поймал передачу радио «Свобода» на польском языке и услышал следующее — до сих пор помню все дословно: «На Украине, тржманей в желязнэй рэнце сталиниста Шэлэста, поновне дошло до политычных арестув. Функционариушэ КэГэБэ зложили незаповяданый визит знакомому писажэви Виктору Некрасову...» Вон как, подумал я, операция широкомасштабная,

если и до Некрасова добрались... (Тут должен сделать одно существенное уточнение: ответственность «сталиниста Шелеста» за аресты 1972 года, мне кажется, минимальна: фактически в это время он уже был отстранен от власти и есть доказательства того, что он противился арестам).

...После 18-месячного пребывания в следственном изоляторе КГБ на ул. Владимирской, я возвратился домой прямо к 56-й годовщине Октября. 9 ноября 1973 года в газете «Літературна Україна» напечатано мое письмо, написанное в тюрьме, которое, собственно, и было условием моего освобождения. В нем я признавал свои ошибки и выражал сожаление о том, что причинил ущерб нашему государствству, выразившийся в использовании буржуазной пропагандой моих сочинений. Не буду тут углубляться в то, почему и как я согласился сделать такое заявление. Скажу лишь, что в условиях, когда мои взгляды злонамеренно искавали, я рассматривал это как единственный доступный мне тогда способ сбросить с себя клеймо антисоветчика, которым меня прижигали и которое было для меня мучительно; взять на себя эту тяжесть я не смог. Разумеется, по выходе на относительную свободу, я находился далеко не в радостном состоянии духа, чувствуя себя потерпевшим поражение. Друзья и знакомые меня, естественно, избегали: одни — разочаровавшись во мне, другие — опасаясь быть обвиненными в общении с пусты и обезоруженным, но все-таки «врагом». Только три человека навестили меня тогда: Виктор Некрасов, Микола Лукаш, Грыгор Тютюнник. И первым был Виктор Платонович.

Он пришел 10 ноября. Как ни в чем не бывало. Поздравил с возвращением домой. Ни о чем не расспрашивал, только о здоровье, о семье (с женой моей он поддерживал все это время связь и понемногу помогал). Сообщил, что в телефонном разговоре с ним Андрей Дмитриевич Сахаров просил передать наилучшие пожелания. И тут же язвительно добавил: «А вот НН. (назвал имя киевской писательницы, нашей общей знакомой. — И. Д.) имеет к вам претензии... Понимаете, Андрей Дмитриевич Сахаров не имеет, а НН., всю жизнь бывшая тише воды, ниже травы — имеет!» Не знаю, действительно ли академик Сахаров просил меня приветствовать или Виктор Платонович просто решил меня подбодрить, но и тогда и теперь я считал и считаю, что «ти-

хая» НН. имела такое же право укорять, как Виктор Платонович — великодушно прощать.

Наше общение продолжалось, но я заметил, что прежней гармонии в настроениях уже нет. За минувшие два года наша эволюция шла в противоположных направлениях: мой — в сторону поиска «существования с действительностью», его — ко все более обострявшемуся неприятию ее. Вообще я в то время почему-то вбил себе в голову, что Виктор Платонович оторвался от жизни, и думал я об этом с сожалением. Более того, затевал с ним разговоры о том, что ему-де полезно было бы поехать куда-нибудь, на большую стройку — мне казалось, что ему не хватает жизненного материала. Впрочем, я понимал и главную причину его творческого кризиса: невозможность нормально работать в удушливой политической и идеологической атмосфере. Узел вокруг него стягивался, он уже жил под угрозой ареста, — и это тоже понуждало меня «советовать» ему на время уехать из Киева. Боже, сколько благогулостей я наговорил ему из «лучших побуждений». Стыдно и вспоминать. И удивляюсь: как после этого он все-таки сохранил благожелательное отношение ко мне.

Но творческий кризис таки был, и Виктор Платонович переживал его остро. Как-то Галина Викторовна, рассказывая о том, что у них был в гостях писатель Х., прокомментировала извинительным тоном (я ведь считался очень «требовательным» критиком): «Ну, это такой... по-средственный писатель». Виктор Платонович вдруг с несвойственной ему раздражительностью прервал: «Все мы посредственные писатели!» Я за этим почувствовал не только деликатность, не позволявшую ему унижать коллегу, но и боль от сознания собственной творческой невоплощенности, неполноты самопроведения.

Кстати, о деликатности, коль уж об этом вспомнилось. В начале нашего знакомства я при разговоре с ним переходил на русский язык, чувствуя, что украинский ему не очень привычен. Его это почему-то умиляло: вот, мол, какая вежливость, что ли (ведь имел дело с «оголтелым националистом!»). А меня удивляло его удивление: ведь никто другой из русских писателей и интеллигентов в Киеве так на подобные вещи не реагировал, считал переход на русский язык в их присутствии вещью само собой разумеющейся. Впоследствии Виктор Платонович

сам нередко делал попытки перейти на украинский язык, хотя это ему не всегда удавалось.

Где-то в году 1974 или 1975 у Виктора Платоновича вызрело решение выехать временно (сначала это мыслилось именно так) за границу. Я, как и многие его знакомые, отговаривал его. Во-первых, представляя, как ему будет тяжело на чужбине. Во-вторых, был уверен, что его не выпустят, а если он будет упорствовать в своем намерении, — упекут в тюрьму. В тюрьме же ему, при его возрасте и характере, будет очень и очень трудно. Да и с его, увы, привычкой к неизменным ежедневным «ста граммам», не выдержать. Об этом последнем моменте я, разумеется, ему не говорил. Больше о другом: что советскую политическую тюрьму может выдержать только тот, кто ненавидит этот режим, а лишенному чувства ненависти — не устоять (это почти всегда так, в этом я убедился на собственном опыте). А у вас, говорил я ему, ненависти ведь нет. «Есть! — отвечал он вдруг с удивившей меня страстью. — Есть! Не могу больше...»

После этого мы к таким разговорам не возвращались. За исключением одного случая. В те годы судьбы инакомыслящих на Украине решал один очень высокопоставленный товарищ, присланный сюда из Москвы специально для наведения порядка и борьбы с национализмом. Фактически я оставался под надзором, и время от времени он «приглашал» меня для профилактических бесед. В одной из них он вроде бы без всякой связи с ходом беседы, мельком «случайно» осведомился о Некрасове. «Он уже одной ногой у нас» (то есть в КГБ). Выйдя из его кабинета, я задумался над этими словами. Поскольку говорившему их были прекрасно известны мои отношения с Некрасовым, он мог сказать их только из расчета, что я передам все Виктору Платоновичу. Стало быть, его ведомство заинтересовано в том, чтобы я передал это Некрасову. Так должен ли я это делать? И что за этим стоит? Угроза? Предостережение? Я склонялся к тому, что его хотят удержать от выезда за границу и припугивают, чтобы он не настаивал на своем. И решил-таки рассказать обо всем Виктору Платоновичу и поделиться с ним своими соображениями на этот счет, — опять же, уговаривая его не уезжать.

Но он к моей доверительной информации отнесся совершенно спокойно, даже безразлично. Видимо, в своей ситуации

он ориентировался лучше меня. И действительно: его не удерживали, а, наоборот, выталкивали из страны. Это окончательно подтвердилось во время визита к тогдашнему секретарю ЦК КПУ по идеологии В. Маланчуку. Об этом я знаю со слов самого Виктора Платоновича. Видимо, хотели, чтобы Некрасов уехал, хотели избавиться от «возмутителя спокойствия»...

...С его отъездом наше общение оборвалось навсегда. Возможно, учитывая мое опальное положение, Виктор Платонович не хотел усложнять его и не писал мне. По той же причине и я не искал связей с ним. (Лишь однажды Гелий Снегирев передал мне от Виктора Платоновича номер русского эмигрантского журнала, в котором была статья Некрасова, имевшая некоторое отношение и ко мне). Теперь стыдно за такую осторожность (представляю, как Виктор Платонович рад был бы каждой весточке с родины), но тогда она казалась разумной; казалось, что еще будет время все наверстать. Увы... Осталось только чувство глубокой вины перед человеком, относившимся ко мне гораздо лучше, чем я того заслужил.

...Читаю статьи и книги Виктора Некрасова, написанные и изданные вдали от родины. И с волнением нахожу в них слова о Киеве, об Украине, об украинской литературе, о дорогих нам людях... Читаю в книге «По обе стороны стены»:

«Я прожил тот раз в Норвегии около месяца. Был гостем Миколы Радейко, популярного и уважаемого в Осло врача, украинца по происхождению... Когда я гошу у него, мы всегда говорим по-украински... Библиотека, книги в основном норвежские, но встречались и украинские. Роясь в них, я нашел кое-что интересное».

Немного наивно, может быть. Но меня растрогало: и там, далеко, Виктор Некрасов тянулся к Украине, к украинской литературе. Он там наверстыwał то, чего лишен был здесь ввиду обстоятельств и предрассудков киевского бытия, в котором так мало места предоставлено было украинской культуре. Известно, что там он общался с украинскими интеллигентами, выступал в печати и по радио на украинские темы, овладел украинским языком лучше, чем в Киеве.

И сегодня он возвращается не только в русскую литературу, но и в украинскую, другом которой так или иначе стал. Возвращается? Да, к кому-то возвращается. А в ком-то был всегда.